

А. И.  
ЭРТЕЛЬ

*Сочинения*



# Александр Иванович Эртель

## Идиллия

«Есть у меня статский советник знакомый. Имя ему громкое — Гермоген; фамилия — даже историческая в некотором роде — Пожарский. Ко всему к этому, он крупный помещик и, как сам говорит, до самоотвержения любит мужичка.

О, любовь эта причинила много хлопот статскому советнику Гермогену...»

**Александр Иванович Эртель**  
**Идиллия**

Есть у меня статский советник знакомый. Имя ему громкое — Гермоген; фамилия — даже историческая в некотором роде — Пожарский. Ко всему к этому, он крупный помещик и, как сам говорит, до самоотвержения любит мужичка.

О, любовь эта причинила много хлопот статскому советнику Гермогену... Так, например, когда не издыхало еще крепостное право, Гермоген, благодаря этой любви, был некоторое время даже под опекой. Вам непонятно это? Вы тут не видите логики? О, это только на первый раз как будто оно и действительно непонятно... — Дело в том, что Гермоген так старательно следил за благосостоянием мужичков своих и с такой настоятельностью внушал им правила экономической и душевной благопристойности, что дал повод сопричислить себя к сонму помещиков, «злоупотреблявших своим правом». Кроме того он, поглощенный мыслью о присовокуплении благородного элемента к мужичковой простоте, не оставлял втуне «права» *primaе postis*...[1] Все это, как я и сказал, повело за собой опеку. Это было, разумеется, в 1856 году.

Он покорился и стих, погубив в груди чувство справедливого негодования.

В пору губернских комитетов<sup>[1]</sup>, памятуя нежность Гермогена к мужичку, его призвали. Комитету он дал тон. Комитет проектировал: майораты — раз, патронатство — два, и, в-третьих, ограничение наделов усадьбами. Гермогена вместе с проектом отправили в Петербург. Там, в комиссиях и в салонах, в вельможеских приемных и в гостиных великолепных львиц, об одном просил он слезно, об одном неотступно молил — не обездоливать мужичка, не покидать его на волю судеб, не лишать его благодетельного воздействия помещика, не давать его в жертву «красным» — Ростовцеву и К°...<sup>[2]</sup> Он молил: «Уразумейте же, наконец, алчбу и жажду мужичкову — дайте ему поле для самостоятельности, поручив самому отправлять государственные повинности, как и подобает полноправному сыну отечества; пробудите в нем самодеятельность, воздвигните перед ним идеал упорного и настойчивого труда, пусть он действует *motu proprio*[2] (Гермоген питал страсть к латыни), но вместе с тем все эти высокие прояв-

ления мужичковой души урегулируйте воздействием помещика... Не упраздняйте нашего родного, краеугольного принципа семейственности: „Вы наши отцы, мы ваши дети“, — не опустошайте души народной, не рвите исконной связи благородного дворянства с его добрым, благодарным мужичком. Крепостное право — зло, и я сознаю это, вещал Гермоген, проливая токи умиленных слез, — и я благословляю молодого императора... Зло оно тем, что развращает мужичка отсутствием идеалов экономических, что причащает его смотреть на жизнь как на блюдо, полное яств, которым, что бы он ни делал, конца не будет... Итак, освободите его, дайте ему усадьбу и широкое поле... самостоятельности. Но не отнимайте от него вместе с этим идеалов нравственных. Пусть новые экономические его идеалы непрестанно облагораживаются, непрестанно смягчаются нынешними нравственными. Пусть образ „добротного помещика“, образ „ангела-барыни и барышн-благодетельницы“ не испаряется из благодарной мужичковой души и вечно умиляет ее, вечно располагает к добру и трудолюбию...

А для этого вооружите помещика атрибутами и судьи, и старшины, и начальника». В противном случае он, конечно, вызывал призраки «крестьянской войны» и «Пугачевщины», а дальше — всеобщей анархии и всеобщей гибели, и грозил этими призраками несчастной России.

И в конце концов снова пострадал: ему посоветовали исчезнуть из Петербурга, и притом, по старой памяти, исчезнуть в баснословно краткий срок. Он исчез, разумеется. Он снова покорился, затаив в душе горькое чувство обиды и томительную гражданскую скорбь.

И вот, в глуши, в деревне, в своем пустынном Монрепо, — Гермоген предвосхитил Щедрина<sup>(3)</sup>, — он смиренно изобразил Цинциннату<sup>(4)</sup>. С заступом в одной руке и с пером в другой неустанно трудился он на пользу отечества. Он всю Россию наводнил брошюрами. Эти брошюры печатались и у Брокгауза в Лейпциге, и у Каткова в Москве, и в Берлине, и в Дрездене, — и начинались всегда одинаково: «Блаженнейшей памяти императрица Екатерина Великая, от неизреченных щедрот

своих соблаговоллив пожаловать благородному дворянству всемилостивейшую грамоту 21 апреля 1785 года...», а кончались: «Не обижайте мужичка, не отгоняйте его от помещика, не тревожьте его идеалов... Памятуйте ужасы французской революции, злодейства Пугачевщины!» Кроме брошюрки этих, сочинял он статьи и рефераты, трактаты и докладные записки. Но, увы, лавры не венчали старика на литературном поприще... Брошюры его не раскупались, и он почти силой навязывал их своим знакомым и даже рассылал по адресам, собранным из календарей. Все это стоило денег. Что касается до статей — даже редакция самого крепостнического издания непрерывно отвергала их, изобличая Гермогена в безграмотности. Рефераты Гермогена повергали непререкаемых слушателей в уныние и сон, трактаты — гнили, а докладные записки в благодушные минуты сановники цитировали для развлечения, как во время оно Телемахиду<sup>(5)</sup> и оды Хвостова<sup>(6)</sup>.

И было время, когда Гермоген упал духом, — «ослаб», по его выражению. Но тут поспела работа «освобождения», и он забылся

в ней от литературных треволнений мятежных, отдался этой работе всею своею душой. С утра до ночи слонялся он с мужичками по полям, с утра до ночи задавал им пиры и произносил медовые речи. И в конце концов уставная грамота благополучно сошла у него с рук, а мужички очутились «на даренке». Гермоген успокоился. И когда в присутствии всех дворян околотка благодарные мужички поднесли ему серебряное блюдо с хлебом-солью (блюдо сам Гермоген и на свои деньги заказывал у Сазикова), он вздохнул отрадно и, пожимая мужичкам крепко руки, прослезился.

После же уставных грамот наступило царствие Бутенопа<sup>(7)</sup>. Гермоген и Бутенопу дань уплатил. Он даже из Саксонии рабочих выписал и настроил великое количество немецких фургонов... Впрочем, на этом и сел, ибо вовремя уразумел тщету заграничного труда. Саксонцы разбрелись из Монрепо оборванные и голодные. Гермоген возвратился к исконной первобытности, к трехполке, и к своим, в то время уже обнищавшим на «даренке», мужичкам.

А время текло; почва зрела все это время, и

вот в одно прекрасное утро Гермоген Пожарский снова очутился на горе стоящим. Снова воспрянул он, и помолодел, и не стихает уже до сей поры, а напротив, как бы остервеняется и усугубляет свою ревность. Дело в том, что он очутился земским гласным.

И он окончательно предался мужичку. При первом же дебюте своем он заявил об этом земскому собранию ясно и решительно и поднял свое знамя с умиленной торжественностью. Весь трепещет от волнения, с дрожащими коленками и с бакенбардами, мокрыми от слез, он прерывающимся голосом произнес свою исповедь. Он говорил:

— Ныне отпускаеши раба твоего!.. Дожил я, господа гласные, до часа, коего вождедела и многие-многие лета тщетно и томительно ожидала душа моя.. Дожил я, господа гласные, до той минуты, коей величие стесняет дух мой и старческое мое сердце заставляет трепетать в некоей сладости!.. — Я стою теперь и мыслю: за что пострадал я? за что претерпел я? за что на поприще и помещика и советодателя был посрамлен я и выметен совместно с плевелами?.. Стою, и мыслю, и вос-

сылаю провидению благодарение. Ныне доспел тот час, в который я, немощный, удрученный летами старец, посрамлю кичливых врагов моих и докажу им, что я и мужичок, — простой православный мужичок и я, представитель древнего рода Пожарских, — тело и дух, воля и действие, следствие и причина... В духе исконных помыслов мужичковых и в духе мужичковых смиренных воззрений вся моя жизнь происходила, на рубеже которой стою теперь... И меня закидывали грязью, меня заушали, меня на всех распутиях вменяли к крепостникам и к врагам народа... Sic transit gloria mundi! [3] — Теперь же что мы видим! — Мы видим в половине собрания нашего мужичков. Одни из них претерпели двойное избрание, двойную почесть: почтены должностью старшин волостных и обязанностью гласного, другие — по достатку своему, по своей сметливости и здравомысленности, по своей приближенности к властям, суть цвет деревни, ее соль — и среди них я, коего предки помнят Иоанна Калиту<sup>(8)</sup>, а некоторые из них доводились свойственниками самому знаменитому спасителю отечества — князю

Дмитрию Михайловичу Пожарскому... (Это Гермоген соврал.) Я вождедею к ним, они ко мне вождедеют. Я верую в здравость идеалов ихних, они верят в мои идеалы. До сей поры все это могло казаться гадательным. Пусть же теперь предстанет воочию единство наше и пусть изменники-либералы посрамятся!.. Они буйствовали, эти исчадия, они злословили, они торжествовали победу, но они забыли мудрое латинское изречение: *finis coronat opus!*[4]

И Гермоген не ошибся. Сразу стал он угонен мужичкам. Поднималось ли предложение усилить медицинскую часть назначением докторов и акушерок, Гермоген вставал и говорил кротко:

— Мы, полагаю, и без того обременены... (Мужички кивали головами.) Мы и без того отягощены поборами... (Мужички поддакивали.) — А в болезни против воли божией не пойдешь... (Мужички благоговейно соглашались.) — От смерти никакой доктор не вылежит, — продолжал он. — Притом же, простые мужичковы болезни очень успешно исцеляют и простые мужицкие бабки. Много даже и

таких видим примеров, что бабки вылечивают болезни, над которыми становились в ту-пик знаменитейшие доктора. Я знаю много таких примеров. И я полагаю, что доктора мужичку не нужны, ибо это только излишняя тягота. Что же касается акушерок, то об них смешно и говорить, — всякая старуха в деревне великолепно поможет роженице. И при-том небезызвестно, что все они безбожницы и нигилистки...

И мужички восторженно гудели: «А-ах, верно, братцы... Правда твоя, барин, правда, батюшка Гермоген Абрамыч... Не надо лекарей... Не хотим кушерок... Нет на то нашего согласия!..» — и предложение блистательно испарялось.

Проектировалось ли расширение народно-го образования, и тут Гермоген тянул в уни-сон с мужичками. Начинал, разумеется, снова о тяготе поборов и затем продолжал так:

— ...К чему мужичку грамота? — Па-хать? — Он без нее может... Условие напи-сать? — Напишут в волости... Молитвы чи-тать? — В церкви прочитают... А кроме того, что мы видим? — Видим мы — грамотный за-

знаётся, грамотный не почитает родителей, грамотный привержен к кабаку и к различным художествам, наконец, грамотный ударяется в раскол и самую душу свою повергает в ад... А между тем в евангелии мы читаем: горе тому, кто соблазнит единого от малых сих, легче бы ему повязать жернов на шею и утопиться...

И мужички снова кричали: «А-ах, исполать тебе, батюшка барин!.. Исполать тебе, Гермоген Абрамыч!.. Не желаем училишшев!.. Не надо грамоты... Нет на то нашего согласия, чтоб ежели, к примеру, маладенцев сомущать!..» — И снова торжествовал статский советник Гермоген Пожарский.

И вот он стал силой. Он гордо величал себя «народником» и в сопутствии мужичков своих вершил все земские дела по рецепту «мудрости исконной и смиренных народных воззрений». Но надо отдать ему справедливость: за колебанием этих «воззрений» наблюдал он тонко, и когда что-либо новое назревало в них, то уступал и подлаживался под это новое и обессиливал его — если оно было неприятно — подвохами, но отнюдь не ломился на ро-

жон, как то свойственно наивному медведю. Так в последние годы уступил он в вопросе школьном, почуяв на этот счет некий поворот во мнениях своих мужичков, вдруг возомнивших, что «без грамоты по новейшим временам — пропадать», — и школы выросли как грибы. Но вместе с тем Гермоген втерся в училищный совет и ковал свои подвохи непрерывно и из школьного дела вытравлял всякую жизнь, всякие попытки на серьезность. Дело в том, что, уступив мужичкам наружно, в душе он все-таки веровал, что школа для них гибель. А он так любил их!.. Теперь восстановлю наружность Гермогена. Это, впрочем, не трудно. Вообразите вы глаза совы, нос стервятника, губы и бородку козла это и будет Гермоген. В соответствии с этим и душевные его свойства изображались. В присутствии юбки напрягался в нем козел; когда приносился запах поживы — оживал стервятник; веяло мраком — поднималась сова... И ко всему к этому прибавьте сладкий голос, тихие ужимочки, смиренное опускание взоров, крепкое пожимание рук.

Меня он любил, и мы были с ним знакомы.

Так вот этого самого Гермогена, этого самого статского советника и отчаяннейшего народолюбца встретил я в конце масленицы у соседа моего, помещика Иринея Гуделкина. Встретил я его и по обычаю поспорил.

— Народ беден, — говорю.

— Народ счастлив, — говорит.

— Народ озлоблен, — говорю.

— Народ благодушествует, — говорит.

— У него нет просветителей! — горячился

я.

— Тех, которые есть, — предостаточно, — возражал Гермоген.

— Они сами невежды...

— Но они смиренномудры и не заносчивы...

— Но народу, помимо смиренномудрия, нужны знания...

— Символ веры и начатки катехизиса.

— Но ему нужен пример и новая постановка идеалов...

— Он и без примера доблестен, и с идеалами исконными счастлив. — И опять:

— Но он озлоблен, развращен...

— Он кроток и благодушен.

И не знаю, как долго длился бы диалог этот, если бы Гермоген круто не оборвал его следующим предложением:

— Да чего лучше — примерчик на сцену. Вы знаете: *errare humanum est*[5], а примерчик великое дело. *In facto...*[6] Я всю жизнь за примерчик. — Вы с вашим батюшкой приходским знакомы, конечно. С отцом Вассианом?.. Ну, так вот-с завтра, в субботу-с, я обещаю почитать его дом. Это, понимаете, польстит ему и подымет его в глазах товарищей. Ну, я и рад. Законоучитель и пастырь стада своего он отменный, и я почту. Вот приезжайте, и увидите. Увидите идиллию. Увидите мужичка в веселии, увидите незатейливых, но смиренно-мудрых и кротких наставников мужичковых... Там будут несколько учительниц, — вы знаете, я стараюсь по возможности мужчин заменять девушками. Понимаете, из духовного звания этак, сиротки, сиротки... И тогда решим, по мудрому правилу древних: *sine ira et studio...*[7]

Я согласился, и Гермоген, уже не оспариваемый, развивал свои мысли насчет достаточности наличных просветителей.

— Вы изволите говорить: «Несостоятельны они», — напротив, об одном ежечасно помышляю я, об одном забочусь, не слишком ли состоятельны... Очень и очень нужен зоркий глаз, чтобы не допустить развращения. Тут вечно нужно помнить правило: *si vis pacem para bellum*...[8] Вот косо я гляжу на тамльцкого батюшку: ряска у него на манер пальмерстона, поясок шелковый, воротнички наружу, и мне это сомнительно. Я слежу, конечно... Я предотвращу заразу... Я уж говорил владыке, но боже упаси... И тем более — нет соревнования. Вот недавно был случай в Лесках — учитель, сынок генеральский... Уж прямое дело!.. — Нет-с, погодим, посмотрим... Отлично посмотрим. Доставляет урядник — книжку отобрал, Милля!.. Чего еще? кажется, предостаточно?.. Нет-с, погодим. Отлично. Чем же кончается?.. А тем, что наставник коммуны начинает проповедовать, общинную обработку земель, общинное достояние... А? как вам это кажется?.. И вы не поверите, даже тогда — даже тогда! — мне, старику, немалых стоило настояний удалить явного, ничуть даже не замаскированного социали-

ста... Ох, трудна обязанность быть на страже непосредственности мужичковой!.. — Или вот еще недавно совершилось событие. Это уж в Красном Яру, у отца Вассиана. Поступает туда учитель. Рекомендации достаточные... Но, понимаете, есть в нем что-то... Однако допустил я его. Учит месяц, учит другой... Спрашиваю отца Вассиана, что? как? не замечаешь ли, как будто пахнет, а?.. И что же вы думаете: «Есть, говорит, ваш-ство, всенепременнейше, говорит, припахивает чем-то»... Понимаете — в одно слово... Слежу... «Как, спрашиваю, насчет Мак-Магона<sup>(9)</sup> мыслите, господин наставник?» Понимаете, издалека... Ну, и сразу, сударь мой, он душок пустил. «Думаю, говорит, я, что Мак-Магон вроде как преступник, потому — нарушитель конституции», и все такое... *Quod demonstrandum est...*[9] Но, однако, виду я не подал... Проходит время, разужнаю сторонкой — сбивает мужичков Никола Ерофеича, — хороший такой, богатый мужичок, — в гласные не избирать... А? каков?.. Наматываю на ус и жду. Приходит новый год. Доносят мне: красноярскому учителю «Отечественные записки» пришли... Как, «Отече-

ственные записки»!.. Ну, тут уж я его, голубчика, и допек! — И вот теперь я спокоен. В Красном Яре учительница у меня вдова, предшественная бабенка, хе-хе-хе... В Лесках — сиротка одна из духовного звания... Помните нашего божественного Пушкина:

*Мне стала известна,  
И как интересна,  
Сиротка одна...*

И лик Гермогена ослабился козлиной улыбкой.

Наутро я приказал Михайле запрячь в санки «Орлика» с «Копчиком» и отправился в Красный Яр к отцу Вассиану. Был пасмурный, но тихий денек, не холодный, но и без оттепели.

Еще не доезжая до Красного Яра слышался нам беспорядочный масленичный гул, особенно поражающий после мертвой тишины, как и всегда обнимавшей снежное поле. При въезде в село этот гул оказался просто оглушительным. Вдоль широкой улицы, разделявшей село на две почти равные половины, ярким, разноцветным потоком тянулись

сани с разряженными девками и бабами, двигались толпы ребятишек и парней, летели тройки и пары... Песни, крики, нестройные разговоры, хрипловая ругань, лязг кнутов, звон бубенчиков, отчаяннейший визг гармоник — переполняли воздух каким-то сплошным завывающим стоном. Яркая безвкусица одежд, диковинное разнообразие упряжек и саней, бестолковейшее сочетание неизъяснимой нищеты и сытого довольства — все это резало глаза и до одури кружило голову. Там бабы в шелках и парчовых душегрейках тесною кучею громоздились на дровнишках, которые через силу тянула худая, как скелет, лошаденка, с боками, изнижанными кнутом. Здесь степенной рысцою трусил до невозможности раскормленный жеребец в сбруе, испещренной медными бляхами, с хозяином в дубленом полушубке и в окладистой бороде и с жирной хозяйкой. Рядом бежали городские санки с волоокими купчихами из соседних хуторов; за купчихами опять, напрягая все жилы, летела кляча, понукаемая оглушительным хохотом и дикими возгласами доброго десятка здоровеннейших мужиков, перепол-

нивших санишки... За мужиками стремились ребяташки, как пчелы улепившие глубокие розвальни. Зипунишки с отцовского плеча и рваные шапчонки не мешали им ломаться, подобно пьяным, и орать во все горло невозможные песни... И опять сани за санями, козырьки за городскими, дровни за розвальнями, мужики за бабами, купчихи за ребяташками, парни за девками... Бабы бестолково топтались в санях, визгливо оглушая улицу глупейшими плясовыми песнями и отчаянно размахивая руками. Девки чинно восседали по бортам саней и, уткнувшись физиономии в рукава шубеек, пересмеивались, шелушили семечки и в свою очередь орали песни. Мужики либо шумно и бестолково галдели и пускали в ход пресквернейшие уподобления, либо тоже заводили песни охриплыми головами... Все это, не исключая ни чинных девок, ни даже важных купчих в лисьих салопах, было либо совершенно пьяно, или близилось к тому. Казалось, самый воздух насыщен был хмелем, и в нем с какою-то бесшабашною пьяною удалью звенели колокольчики, гремели бубенчики и развевались вплетенные в

гривы алые ленты и яркие платки в руках плясуний.

Посреди села, около кабака, на котором гордо развевался совсем еще новенький красный флаг, волновалась бесчисленными платками и смушковыми шапками, кичками и треухами огромная толпа. Шум над этой толпой висел неопиcуемый. Ехать мимо нее приходилось шагом и даже время от времени останавливаться. Я поневоле слушал, и смотрел, и любовался на «идиллию».

В одном конце толпы девки пронзительными голосами отхватывали песню про то зазорное обстоятельство, как:

*Купи-ил кузнец...*

*Купи-ил кузнец...*

*Купил Дуне сарафан, сарафан!*

*Купил Дуне сарафан, сарафан!*

А за что купил — следовали неудобнейшие, нахальнейшие пункты.

В другом конце с каким-то нечеловеческим ожесточением ругались, разнообразя ругань до гнуснейшей виртуозности и подкрепляя ее отвратительными соображениями о нравственных свойствах восходящего колена.

На сугубую мерзость этой ругани, казалось, конкурировали, ибо всякое преуспеяние награждалось одобрительным хохотом предстоящих.

Там два кулачные бойца, в разодранных рубашках, с рукавами, засученными до локтей, усердно сворачивали друг другу скулы и, обливаясь кровью, лезли друг на друга как иступленные. И вокруг них радостно гоготали и подзадоривали зрители.

Здесь посреди седых бород и старческих кудрей рокотало что-то и вовсе неизъяснимое... По крайней мере я ничего не понял в этом рокоте, и уж Михайло, действительно прислушавшись к нему, с широкой улыбкой объяснил мне, что судят вора. Из сплошной галды вырывались следующие восклицания:

— Ах ты, такой-сякой!

— Не-эт, это ты врешь... врешь...

— Сват он мне, ай нет?.. Нет, ты скажи, скажи-и... (Этот голос был особенно пронзителен и дребезжал подобно пиле, брошенной в воздух опытным покупателем на ярмарке.)

— Одно слово — ведро... Ведро, и шабаш!

— Облопаешься!

— А-ах, дьявола вы... — И-их, да кабы взодрать, и взодрал бы... Ведрро, и шабаш! — Нет, хомут на яво по-настоящему... — Первое дело хомут!.. — Притянуть бы вожжами к телеге, да в кнутья бы!.. Ого-го-го... Не воруй!

— Ведь сват он мне — рассудите вы, старые дьявола!

— Становь, становь ведро-то!.. Робя! розгачей ему... — Хомут, хомут на шею да по селу... — Боже упаси, чтоб прошшать...

— Да ведь жрать-то ему нечего, черти!.. Лопать-то ему... Рассудите, чего ему лопать-то! а? — усердствовал пронзительный сватов голос.

— Нет, по скулам ихнего брата!.. — Ай за волосья... — Чего-то розгачей, одно слово! — Горячих штоб... — Вед-ррро!..

Но внезапно шум этот прервался громким возгласом:

— Старички поштенные! Нил Ерофеич едет...

И вся кучка среброголовых старичков, с длинными палочками в руках и с патриархальными бородами, спешно направились к середине улицы. Там остановились козырьки,

запряженные жирным жеребцом, и из них, важно побряхтывая, вылез к старичкам толстый сивый мужик. И только вылез он, снова поднялся шум неопиcуемый. Впрочем, в шуме этом теперь уже превозмогали не грозные и не укоряющие ноты, а мягкие и подобострастные.

— Э, Нил Ерофеич! Благодетель!.. — слышались голоса. — Старичков-то, старичков-то не забывай... — Рады мы масленице-то матушке, голубчик ты наш!.. Кости-то наши старые разгулялись... — Водочки бы им... душенька-то пить запросила, Ерофеич!.. — Угости, поштенный человек!.. — Мы кабыть стоим по заслуге-то по нашей... — Мы для тебя вот как — всей душой! — Ты вот старшина теперь — доходишь срок, опять постановим... — Старички не выдадут... — Старичок — ты ему угоди, а он выручит! — Это как есть... — Ты не гляди, что на тебя недочет взвели... — Нам это все единственно как наплевать... — А ты думал как, — известно, наплевать! — Семьсот рублей деньги для волости невелики... — Как еще невелики-то... — А мы завсегда рады уважить хорошему человеку... — С миру по нитке — го-

лому рубаха!

И в сопутствии солидно шествовавшего впереди Нила Ерофеича все потянулись в открытые двери кабака, широкою пастью зиявшие за народом. А спустя несколько минут выскочил оттуда раскрасневшийся, подвыпивший старичишка с огромной лысиной и закричал на весь народ:

— Эй, православные! ведите сюда свата Аношкиного, — мы его, вора, в хомуте малость поводим... для потехи!

И народ с радостным хохотом подхватил призыв к «потехе» и мгновенно выделил из себя человек шесть, спешно направившихся за Аношкиным сватом. Готовился самосуд.

Мы тронулись далее и, проехав кабак, увидели следующую сцену. Маленький, тщедушный мужичонко, без сапог и шапки, отбивался от высокой носастой бабы, озлобленно тянувшей его за руку. Мужичонко едва держался на ногах и, конечно, не осилил бы с бабой, если бы его, в свою очередь, не тянули к кабаку два здоровенных и тоже сильно подвыпивших мужика. У бабы, от невероятных усилий стащить мужичонку, съехала с головы кичка,

и растрепанные волосы спустились на злое, испитое лицо. В ее глазах стояли слезы, осипший голос дрожал и прерывался.

— Окаян-ный!.. — причитала она, — без просыпу третий день... Пропойца!.. Жена без хлеба-а... Идол!.. Оглашенный!.. Совесть-то в вас нету-у... Душегубы!..

— Пуцай!.. Пуцай, говорю... — сладко усмехаясь, бормотал мужичонко, вырываясь из ее рук. — Я сказал, и пуцай... Я сказзз...

— Кум! что ж ефто за порядки! — укорительно вопил один из тянувших мужичонку сзади и усердно подхватывал его под мышки.

— Ломани ее хорошенько, дьявола, по сусалам... Чего она! — кричал другой, пыхтя от напряжения.

— Глахфер... Глахфер... не трошь... Слышь?.. Ослобони, говорю... томно закрыв глаза, тянул мужичонко.

Но Глафира не пускала. Она точно замерла в одной отчаянно-мучительной позе: пальцы ее впились в руку мужа, на синеватом лице загорелся багровый румянец, длинный неуклюжий стан, покрытый одною только рубашкой, судорожно вздрагивал от непосильного

напряжения.

— Иди-и, погибели на тебя нету!.. иди, родимец! — истерически кричала она; и эту группу, с хохотом и прибаутками, обступили подзадоривающие зрители.

Лицо тщедушного мужичка вдруг преобразилось. С него не сошла добродушная, расплывчатая и несколько ленивая улыбка, но глаза как-то мгновенно раскрылись, и в них замелькал какой-то не то задорный, не то просто насмешливый огонек.

— Ты чаво? Ты чаво?.. — зачастил он, быстро подвигаясь к лицу Глафиры. — Ай дать? Ай дать?

— Стрекани, стрекани ее по морде-то!.. Стрекани подюжей!.. Чего она... Ишь, прилипла, подлец!.. — серьезно убеждали мужичонку окружающие, но он снова раскис и снова бессвязно лепетал умильным голоском:

— Ей-богу, по одной... Однова дыхнуть!.. косушку куда ни шло... Глахфер!.. Не замай... Ей-богу же, по косушке!

А мужики снова вырывали его из оцепеневших рук бабы и тянули к кабаку, тяжело сопя от усилий.

Разрешилась эта сцена совершенно неожиданным пассажем. Из кабака вдруг неожиданно-негаданно выскочил коренастый растрепанный мужичишка и, быстро подбежав к Глафире, ни слова не говоря, ударил ее по уху. Та пронзительно вскрикнула, оторвалась от мужа и как сноп повалилась в снег, окропив его тонкою струйкой крови. Мой Михайло даже крякнул от удовольствия.

— Ловко!.. Вот так звезданул! — произнес он.

Немного спустя Глафира поднялась и, на ходу повязывая кичку и размазывая по лицу кровь, направилась к порядку, оглашая улицу жестокой бранью и проклятиями. Зрители покатывались со смеху. Мужики торжественно, хотя и с заметной торопливостью, вели к кабаку Глафирина мужа, который мягким и дребезжащим голоском, по-видимому, на что-то жаловался. Мужичок, ударивший Глафиру, услужливо поддерживал его под руку и радостно выкрикивал:

— Первое дело — в морду! Они из эстого страсть как жидки... бабы эти!

— Чего способней! — хором подхватили

остальные товарищи Глафирина мужа. — Не иначе как в морду... Прямое дело!.. Чтоб значит сразу ее... остолбить!.. Особливо извест[10] ежели...

Не доходя до дверей кабака, все четверо вдруг затянули песню. К ним тотчас еще присоединилось человек пять, и в кабак повалила уже целая толпа. Песня нескладными звуками неслась из дверей кабака:

*Э-их мы по Питеру...  
Мы по Питеру, братцы, гуляли,  
По трактирам, братцы, каба-  
кам...  
Э-их много денег...*

— Тоже и у них есть ухватка, — вдумчиво заметил Михайло.

— У кого?

— А у баб. Она тебя, то ись, ежели проникнет теперича... Одно слово дух вон!.. Тоже хитрый народ...

А мужичок, ударивший Глафиру, выско-чил из кабака и, высоко вознося над головою дрянные сапожишки, закричал на всю улицу:

— Эй, народ православный!.. Кому есть охота Митрошкины сапоги вздеть!.. Четверть

водки да два ратника[11] просит Митрошка!.. Митрошка весну почуял — без сапог желает оставаться!

Мы двинулись далее.

— Это уж ты как хошь, дядя Митяй, а осьмуху выволакивай! — слышалось в кучке, обступившей седенького и дряхлого старикашку.

— Знамо, осьмуху...

— Чего уж — по совести!

— Как есть что по совести...

— Тоже на мир плевать не приходится!..

— Пора и совесть знать...

— Заедаться-то кабыть не к делу...

— Уж девятый год, почитай, пастухом-то ходишь!

— Пора бы миру-то и отблагодарить...

— Взять-то кабыть негде мне, кормильцы...

Негде взять-то ее, осьмуху-то... — с тоскливым смирением шамкал старикашка, робко поводя по толпе своими выцветшими, слезящимися глазами.

И опять:

— Нет уж, дядя Митяй, подноси... Раскошеливайся... чего уж! — Почитай, девять годов

ведь... — Хлеба-то мирского ты тоже немало пожрал... Совесть-то, ведь она зазрит. — Как есть зазрит! — От ей тоже не убежишь, от совести-то... — Не-эт, врешь!.. — Не таковская!.. — Выволакивай, выволакивай осьмуху!.. — Тоже, брат, мир-то объедать не приходится!..

С другого конца села к кабаку валит еще толпа девок. Под звонкие удары заслонок перед этой толпой ломались две бабенки, неистово потрясая платками и как-то неестественно выворачивая груди. Девки орали во всю мочь:

*Охо-хошеньки, хохошки,  
Надоели нам картошки...  
Нам картошечки приелись,  
Ребятенки пригляделись...  
Охо-хо хо, охohoшки,  
Отходились мои ножки  
По красн-ярской по дорожке...  
Вы скажите Миколашке  
Записалась я в монашки...  
Хоть в монашках жить я буду,  
Миколашку не забуду...  
Вы подайте стакан чаю  
Я по миленьком скучаю...*

*Вы подайте стакан рому  
Я поеду ко иному...  
Вы подайте папироску  
Я вспомню про Федоску...  
Охо-хо-хо...*

Мы уже почти миновали шумную, разноголосую улицу и повертывали на сравнительно пустынную площадь, в глубине которой виднелся опрятный поповский домик, как вдруг из ближайшего переулка раздался могучий окрик: «Стой!», и лихая тройка вороных, как вкопанная, остановилась около наших саней. Михайло тоже сдержал лошадей. Тройка была впряжена в широкие, обитые яркоцветным ковром сани. Сбруя на лошадях звенела бесчисленными бубенчиками и весело сверкала крупными и мелкими бляхами. Два серебряных колокольчика под вызолоченной дугою мелодично позвякивали каждый раз, когда горячий коренник-иноходец с огромными огненными глазами сердито вскидывал свою горбоносую голову. Поджарые пристяжные, красиво искривив шеи свои, жадно глотали снег, нетерпеливо взрывая его копытами. Глаза их налились кровью, из горячих

ноздрей клубился пар, с удиллов большими желтоватыми клоками падала пена.

В санях, откинувшись к задку, небрежно полулежали три дамы. Я знал из них лишь одну — сдобную супругу отца Вассиана. Смазливая рожица другой, с наивно приподнятой губкой и восхищенными глазками, и смуглое лицо третьей, с каким-то горячим, жадным и пронзительным взглядом, — не были мне знакомы.

Посреди них помещался волостной писарь с огромнейшей гармонией в руках и вертлявый фельдшер с золотым ринсе-pez на нервном, вечно дергавшемся носике. Кроме того, в глубине саней виднелась еще фигура, хотя и в великолепной скунсовой шубе, но уже совершенно пьяная. Видом фигура походила на купчика, — но я совершенно не знал этого купчика. Зато хорошо знал и помнил того, который правил лошадьми и так молодецки крикнул «стой!»

Сжимая в левой руке небольшую смушковую шапочку, распахнув лисью поддевку, изпод которой алела шелковая рубаха, опоясанная серебряным поясом, он раскланивался со

мною, сдерживая правой рукою бешеную тройку. Он правил стоя, немного откинувшись назад от усилия сдержать горячившихся коней. Его маленькую окладистую бородку занесло снегом и подернуло инеем; слегка прищуренные глаза блистали диким, своеправным огоньком; волосы, остриженные в кружок, беспорядочными прядями свешивались на упрямый невысокий лоб. На красивом лице горел пышный румянец. От всей его невысокой, но статной и крепкой фигуры так и веяло здоровьем и какою-то отчаянною, ни перед чем не останавливающеюся удалью...

Это был Сережа Чумаков, или, если хотите, Сергей Пракселыч, — блудный сын богача-купца, которому принадлежало в нашем околотке около десятка тысяч десятин земли с пятью хуторами и с неисчислимой массой крупного и мелкого скота.

— Гуляем, Николай Василич!.. — ухарски закричал он мне, оскаливая свои зубы, белизною подобные снегу. — Просим милости в гости — на Аксеновский хутор... Завсегда с нашим удовольствием, потому — сами теперь хозяева!

Кавалеры разразились смехом. Дамы взвизгнули... Я еще не успел ответить Сереже, как вдруг он гикнул неестественно диким голосом, и тройка бешено рванулась, обдав меня целой тучею снега. Колокольчики залились каким-то захлебывающимся, то ноющим, то смеющимся звоном... Кавалеры выкрикивали во всю глотку: «Жги!.. Дай любца!.. Иде-о-о-ом!..» Дамы хохотали. Гармония оглашала улицу плясовыми нотами. Сережа свистал и издавал какие-то совершенно неподобные, почти истерические восклицания... Издали эти восклицания можно было принять за рев тоскующего от страсти зверя.

Катанье торопливо съезжало с дороги, по которой неслась тройка, пешеходы опрометью бежали к избам, песни на мгновение смолкли, даже пьяный гул толпы, волновавшейся перед кабаком, стих немного... А тройка неслась по улице, неистово заливаясь своими колокольчиками. Коренник-иноходец, высоко вздернув голову, мерно и как бы не спеша раскидывал свои сухие, неуклюжие ноги, держа в строгой неподвижности длинную и прямую спину. Благодаря этой неподвижно-

сти спины он казался плывущим. Пристяжные, отчаянно закрутив шеи, несли свои характерные донские головы около самой земли; они скакали во весь опор и все-таки едва успевали за коренником. Только по этой безумно быстрой скачке пристяжных можно было вполне понять и оценить ту изумительную силу бега, которой обладал чумаковский иноходец...

Вероятно встревоженные криком Сережи, из той избы, против которой мы останавливались, стремительно выскочили пять или шесть пьяных мужиков. Добежав почти до самых саней моих, они внезапно остановились, еле сдерживаясь на колеблющихся ногах, и вдруг несказанно злобными голосами возопили вслед тройке. Они грозно потрясали руками в воздухе и сердито сжимали кулаки... Они неистово засучивали рукава рубашек и, бестолково перебивая друг друга, посылали Чумакову целый град проклятий и угроз. Тщетно бабы, выскочившие вслед за ними, тащили их обратно в избу... Особенно усердствовал один, необыкновенно сухопарый мужик с вострой сивенькой бородкой. Он широ-

ко растопырил нетвердо стоящие ноги свои, и, подхватив обеими руками живот, что есть мочи кричал по направлению к тройке:

— Сволочь!.. Своло-очь!.. Погоди, ужо!.. По-го-оди!..

И кричал долго и упорно, все более и более возвышая голос, уже начинавший хрипеть. Лицо его покраснело от натуги, бессмысленно уставленные в одну точку глаза подернулись кровяными нитями.

Кончилось тем, что, наконец, сами товарищи наскучили этим неистовым криком и поволокли сухопарого мужика в избу. Но тут не обошлось без маленькой потасовки, ибо сухопарый добровольно идти не хотел, а повалившись на снег, даже отбивался ногами, продолжая возглашать уже сипло и неудобовразумительно:

— Сволочь! сволч...

— ...Ох, девушка — Сережка Чумаков гуляет! — тараторили две необыкновенно шустрые и подвижные бабенки, поравнявшись с моими санями. Они, видимо, спешили «на улицу», к кабаку. Одна хлопотливо запахивалась в белоснежный шушпанчик, другая то и

дело опрaвляла красные отвороты корсетки, широко отложенные на впалой и узенькой груди.

— Ишь его нелегкая-то носит! Того гляди — задавит кого...

— Какие это бабы-то с ним?

— Аль не узнала? Одна-то попадья наша, а другая учительша новая, Моргуниха, а уж еще-то я и не скажу — чуть ли из Лесков какая...

— Ишь вихрются, подумаешь!

— Уж и не говори... Чистые суки!

Отец Вассиан был шустрый человек. Худой, длинный, носастенький, он вечно сгорал какой-то неутомимой жаждой порицания и вместе с тем был хлопотлив и непоседлив. Широкие рукава его замасленной ряски вечно раздувались от движения непокойных рук, деловое выражение не сходило с лица, язык не умолкал ни на минуту.

Он мне обрадовался и тотчас же с гордостью сообщил, что ждет «его — ство» (так величал он статского советника Гермогена). Жидкие волосы его были на этот раз обильно политы маслом, новая ряса гремела как ко-

ленкор, движения более чем когда-либо были беспокойны и порывисты.

За мною стали и еще подъезжать гости. Приехал тщедушный попик из Больших Лесков, отец Симеон, — низенький, костлявый, с язвительной улыбкой на устах и с зазорным пунцовым носом. Припожаловал отец Досифей из Кутайсовки, — тучное страшилище с литавроподобной октавой, львиной гривой на голове и осовелыми очами. С ним прибыла и «матушка», женщина тоже обширная, но под впечатлением тяжелого Досифеева взгляда постоянно находившаяся в каком-то столбняке.

Вообще гостей набралось достаточно. Были еще два-три попа с супругами в желтых и зеленых платьях — я их не знал; был красноярский дьякон, родственник отца Вассиана, смиренное и забитое существо, к тому же изрядно подвыпившее. Он все держался в сторонке и, видимо, робел. Кроме духовенства присутствовали: местный лавочник, темный и почтительный человек, и дебелый купец-хуторянин с супругой, похожей на французскую булку, затем вернулся с катанья и

Чумаков с компанией.

Сдобная Лизавета Петровна (супруга отца Вассиана) тотчас же вступила в свои права и бойко забегала по комнатам, немилосердно гремя своими туго накрахмаленными юбками.

Гости понаехали как-то вдруг. Не успевал еще раздеться и разгладить перед зеркалом смятую физиономию один, и не успевали еще хозяева радушно перекинуться с ним обычными в этих случаях фразами о здоровье, о семье, о погоде, — как на дворе снова раздавался скрип саней, и в переднюю вваливался новый гость, и хозяева опрометью спешили к нему навстречу и с приятными улыбками вводили его в залу.

И после первых приветствий каждому гостю не без гордости сообщалось, что ожидается приезд «его — ства». Это производило сенсацию. На многих лицах известие вызывало благоговение, на иных — испуг, на других — мимолетное чувство зависти.

Но время текло, а «его — ство» не появлялся. Это, наконец, начинало беспокоить отца Вассиана. Он уже с явным нетерпением под-

бегал к окну всякий раз, как мимо домика проезжали чьи-либо сани, и всякий раз отходил от окна, тревожно покусывая тонкие губы и слегка бледнея. А отец Симеон, с обычной ему тонкостью подметив эти маневры, процедил с видом ядовитейшего смирения:

— Замешкались, однако, его — ство... Уж будут ли?.. Не ошиблись ли вы, отец Вассиан?

Все мы — мужчины — собрались в зале. Дамы тараторили в гостиной, где между прочим стояли и клавикорды, где-то по случаю приобретенные отцом Вассианом.

Но настроение среди нас явно было натянутое. Ожидание «его — ства» как-то необычайно напрягало все наши нервы и делало их совершенно нечувствительными для всяких других ощущений. Пробовали мы говорить о погоде — и замолкали; о «Епархиальных ведомостях» — тоже замолкали... О новостях околотка — и тут замолкали. Одним словом, совершенно ничего не удавалось. На отца Вассиана даже жаль смотреть было, — весь он вспотел и покрылся какими-то багровыми пятнами.

Это настроение оживил было отец Доси-

фей. Когда на столе появились бутылки — известная водка «железная дорога», историческая «дрей-мадера» с вечным запахом жженой пробки, семигривенный херес и еще какие-то таинственные сосуды, — и поднос с закусками, — чахлые сардинки, бойко отдававшие деревянным маслом, заскорузлая паюсная икра, селедка с луком и еще какая-то таинственная коробка, — отец Досифей изъявил отважность, достойную римлянина: он без приглашения хозяина (на ту пору уже окончательно пришедшего в смущение) и сам подошел и других пригласил решительным мановением руки к соблазнительной батарее. И все сразу повеселели и воспрянули духом.

Но на грех и тут отец Вассиан испортил дело. Догадало отца Досифея взять какую-то крохотную бутылочку (из числа таинственных сосудов), а отца Симеона — протянуть руку к таинственной коробке, и отец Вассиан вскочил как ошпаренный и с ужасом в широко раскрытых глазах закричал:

— Отец Досифей! Отец Симеон! Что вы делаете — ведь это для «его — ства»!..

В бутылочке оказалось шестирублевое fine champagne[12], а в коробке маринованная осетрина. Конечно, отцы тотчас же, и даже с некоторым испугом, оставили и осетрину и дорогое вино, но тем не менее вопль отца Васиана как-то неприятно подействовал на всех нас. Казалось, какое-то угнетение посетило наши души.

Но бог милосерд, и широкие пошевни показались, наконец, на улице. Это ехал Гермоген Пожарский. Все общество залы, толкаясь и оттесняя друг друга, присыпало к окнам. Лица являли неизъяснимое волнение. Отец Досифей покраснел, подобно пятаку из старой меди; отец дьякон был бледен, как мертвец; у отца Симеона дрожали губы, а у одного иерея судорожно косило уста. Даже купец с лавочником, и те струхнули. Что касается Сережи Чумакова, то он в сопровождении писаря и фельдшера скрылся еще заблаговременно, и, конечно, не из опасения его — ства, — он был не из пугливых, — а просто для иных каких-либо целей.

Дамы походили на стадо овец, возмущенное бурей. Они беспорядочной толпою сучи-

лись посреди гостиной и в каком-то наивном ужасе, казалось, не знали, куда им деть руки и ноги свои. Хорошенькое личико лесковской учительницы окончательно уподобилось телячьей рожице; кутайсовская матушка оцепенела; купчиха изумленно вытаращила очи; лавочница в каком-то беспокойном изнеможении раскрыла рот... Одна Моргуниха, эффектно обтянутая черным кашемировым платьем, по которому вилась толстая золотая цепь от часов, сидела невозмутимо и с некоторой иронией оглядывала дам своими черными горячими глазами.

Хозяева, разумеется, выскочили навстречу многозначительному гостю и еще на крыльце приветствовали его отборнейшими словами. В переднюю Гермоген явился, осторожно поддерживаемый отцом Вассианом с одной стороны и Лизаветой Петровной с другой. Лик его изображал благосклонность. Освобожденный от шубы с помощью отца Вассиана с супругою и некоторых из гостей — особенно усердствовал отец Симеон — он, наконец, появился в зале. И внезапно повеяло на нас благоуханием тонких духов... Безукориз-

ненный пластрон гермогеновой рубашки украшался орденом. Его розовая лысина великолепно лоснилась. Седые баки умиляли своим благородством. Гладко выбритое лицо было величественно. Старческое тело облакал изумительный фрак от Тедески.

Он сначала приятно улыбнулся всем нам, — что при желании можно было принять за любезный поклон, — а потом, важно нахмутив брови и сделав взгляд свой взглядом строгим и внушительным, к каждому батюшке подошел за благословением и каждому батюшке звонко поцеловал руку. Это целование привело бедняков в большое смущение. Отец Досифей даже сделал было явное уклонение, но получил за то замечание от него — ства, замечание мягкое, но вместе и неприятное:

— Я не вам, отец, целую десную вашу, а пастырю церкви нашей святой, произнес Гермоген.

Зато уж отец Симеон отличился. Придав лицу своему умиленно великопостное выражение, он благоговейно возвел очи горе и внятным, певучим голосом протянул: «Во

имя отца и сына...»

По совершении этой церемонии Гермоген снова ослабил лик свой благоприятной улыбкой и обратился к отцу Вассиану:

— Ну что же, отче, — сказал он, — помни правило древних: *ede, libe, lude...*[13] Разрешите, святые отцы... — и, подошед к столу, выпил, соблаговоллив пригласить к этому и остальных. Все в благоговейном молчании последовали примеру Гермогена, и все после выпивки кротко крякнули. (Только отец Досифей рывкнул было, но отец Вассиан пронзил его уничтожающим взглядом.) Тут Гермоген повидался и со мною.

— А! Ну что, скептик, — игриво произнес он, — наконец-то вы воочию убедились... Видели мужичков? Видели, как эти добряки беззаветно отдаются мирному веселию?.. Видели, как они, так сказать, ликут и, так сказать, ощущают негу своего существования?.. И вот, посмотрите теперь на воздействователей... Я уверен — размягчится сердце ваше... Есть, конечно, плевелы, но мы с божией помощью... — И он внезапно сел, вероятно по старческой рассеянности позабыв про дам, в

жуткой тревоге ожидавших его в гостинной...

— Ну, садитесь, отцы... Потолкуем... Не ex professo[14], а bene placito[15] потолкуем... хе-хе... не забыли латынь, отцы?

— И по доброй воле и по обязанности еже-часно благожелаем испить млеко беседы вашей, ваше-ство! — произнес отец Симеон, сладко заглядывая в гермогеновы глаза.

— Так потолкуем же!.. — Ну, что сосед ваш из Тамлыка, отец Симеон, признаюсь, беспокоит он меня...

Отец Симеон грустно вздохнул.

— Положа руку на сердце, ваше-ство — как пастырь и служитель алтаря не могу сообщить вашему-ству ничего утешительного... — И, помолчав немного, продолжал: — носится, что и святую литургию отправляют отец Пимен неудобовразумительно — без благодати и с поспешением, — и чай вкушает прежде даров освященных, и... изучает богоотступного философа Прудона...<sup>{10}</sup>

— Прудона! — в ужасе протянул Гермоген и затем патетически воскликнул: — Quosque tandem!..[16]

Пронеслось краткое молчание.

— Отцы! — с мольбою и сокрушением заговорил, наконец, Гермоген: — к вам обращаюсь... Вы первые ответствуете за души пастыри вашей... Храните их от хищения... Смотрите зорко... Рыскает зверь, иский кого поглотити... Присылаются народные учителя, определяются учительницы и акушерки, назначают волостные писаря и фельдшера — блюдите за ними... Посещают ли храм, соблюдают ли посты, отметаются ли новейших богопротивных наук, как помышляют о семье и собственности, питают ли бешеную склонность развращать мужичков неистовыми теориями, — все вы должны ведать, за всем наблюдать. Не брезгайте ничем: святое дело не только искупает, оно награждает всякое прегрешение. Привлекайте прислугу, расспрашивайте, разузнавайте, разведывайте, пытайте, грозите отлучением от святых даров, налагайте эпитимии, приказывайте, научайте, следите... и благо вам будет. А главное, помните — первый поступок подозрительный, первое благожелательство неразумных мужичков к искомому субъекту, — *ex ungue leonem, ex auribus asinum...*[17] нигилиста же,

добавлю я, по неистовой страсти распалить мужичкову привязанность узнаешь, — и немедля ко мне! Во всякое время дня и ночи памятите, что я, Гермоген Пожарский, стою на страже неусыпно и ежечасно взываю: Quos ego!..[18] — И Гермоген поднялся во весь рост, и сделал величественное мановение рукою, и снова опустился на стул.

По отцам как бы ветерок прошел: все они в умилении изогнулись и дружно загремели новыми своими рясами. Все они моментально вскочили с своих мест и снова моментально же опустились на оные.

Протекло краткое молчание. А по молчанию рявкнул и сконфузился звуков собственного своего голоса отец Досифей.

— Говорите, говорите, отче, слушаю я вас, — с приятностью ободрил его Гермоген.

Отец Досифей смущенно кашлянул в исплинский свой кулак, густо покрытый желтыми волосами.

— Оно, конечно, ваше-ство... оно, разумеется... — невразумительно загудел он, мрачно скосив брови, — оно, ваше-ство, всякое дело ко времени благопотребно... И, конечно, вся-

кое благопреуспеяние... Оно благожелательно, ваше-ство, ваше-ство!.. Обаче, говорит святой отец...

Отец Симеон дернул его за рукав рясы. Лик отца Досифея изъяснил мучительную скорбь.

— ... Но тем паче оно благополезно... Всякая ревность взыскана да будет... И опять в он же день, говорится, ваше-ство, в писании... — Отец Досифей окончательно уперся лбом в стену.

— Отец Досифей любвеобильные чувства наши к вашему-ству желательствует изъяснить, — поспешно подхватил отец Симеон, — все мы, смиренные иереи, пылаем к вам, ваше-ство... Вы, ваше-ство, наша защита и покров... Наши чувства, ваше-ство, питаются любовью к отечеству и к вам, ваше-ство! И в вечном благодарении вашему-ству мы не скажем в пылу ревности нашей... — И отец Симеон щегольнул латынью: — Мы не скажем: *hic haeret aqua*[19], ибо с помощью священнодействия... тьфу, не то!.. Ибо с помощью благосодействия вашего, ваше-ство, никакое препятствие не стеснит нашего поприща... и не остановит, так сказать, живой воды пылкости

и любви нашей!

Отец Досифей, может быть, и действительно хотел сказать именно то, что изъяснил отец Симеон, но тем не менее он мрачно нахмурился и даже презрительно усмехнулся, когда торжествующий отец Симеон кончил.

А Гермоген с явной благосклонностью пожал руку отцу Симеону, отчего тот, весь изогнувшись в подобострастной позе, как бы растаял. Остальные отцы изъявили зависть.

— Осмелюсь донести ваше-ству, — деловым тоном произнес один из них, замечая я в наставнике нашем некоторое блуждание мыслей и неодобрительный либерализм...

— А откуда вы, отче?

— Из Бердеева, ваше-ство.

— А, из учительской семинарии там... Помню, помню, имею уже в виду, но вам очень, очень благодарен! — И Гермоген пожал ему руку... — О, я слежу, отцы...

— Я, ваше-ство, тоже проследил одного, — стыдливо заявил и зарумянился еще один батюшка, подслеповатый и белокурый, как младенец, — хитроумен он и суемудр... По пяткам и средам употребляет от животных тепло-

кровных... Кроме того, продерзостно рассуждает...

— Отлично, отлично... Кто же он?

— Фельдшер Игнатов.

— А, жаль, не мое ведомство. Но я запишу, запишу... Блюдите, отцы, на вас надежды отечества покоятся!

Вдруг встал и подошел к Гермогену купец-хуторянин.

— А что ежели, Гермоген Абрамыч, такая штукавина, — бесцеремонно произнес он, ударив своей лапой по столу, — приходит ко мне вдруг малый, и вдруг говорит: я тебе, говорит, денег за землю не отдам, потому ты пес и больше ничего как кровопивца... — То как это? по какой части, а? — Я так полагаю — он из умышляющих!

Отцы, жестоко огорченные неприличным поведением купца, тесно окружили его и, наперебой осыпая укоризнами, оттеснили туда, где он сидел доселе. Купец несколько сконфузился, хотя и не переставал произносить вполголоса:

— Нет, каким же манером «кровопивца»?!

А Гермоген выпил еще рюмочку fine

сшапрагне и поднял глаза на двери гостиной. И как будто целый рой соблазнительнейших представлений пронесся пред стариком. Государственное выражение его физиономии вмиг заменилось каким-то сладостным напряжением. Лик его внезапно подернуло маслом, губы оттопырились, ножки согнулись и задрожали, взгляд раскис и переполнился нежностью.

Он спешно направился в гостиную. Дамы подобострастно расступились. Он остановился среди них и, в какой-то млеющей истоме растопырив руки, произнес, обращаясь ко мне:

— «*Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charibdim...*»[20]

и тотчас же пояснил: — Все вы прелестны, сударыни, все прекрасны... На что «сударыни» жеманно улыбнулись. (Они, не исключая на этот раз и Моргунихи, стояли.)

А Гермоген кропотливой походочкой подошел к юной лесковской учительнице. Та покраснела как пион, неловко присела перед Гермогеном и почтительно поцеловала его руку. Гермоген нежно потрепал ее по щечке,

игриво ущипнул двумя перстами ее подбородочек, пощекотал беленькую шейку и, наконец, расслабленно пролепетал:

— Декольтировочку... декольтировочку, душенька... Пусти декольтировочку... Плечики, шейка, бюстик у тебя... во-о-осхитительно!.. Но декольтировочка, декольтировочка!.. Знаешь, платице этак... С разрезцем, с разрезцем...

Гермоген даже губы облизал.

А от нее перешел к Моргунихе, жадно приник к ее пальчикам и, как бы раскисший от какого-то знойного томления, как бы истязуемый какими-то беспокойными ощущениями, поместился с нею на диване. Он и хихикал, и дрожал, и таял близ нее. А она играла своими взглядами, точно японец шарами, и пронизывала ими бедного старика.

Я подсел к ним. Гермоген несколько устыдился.

— «Nihil humanum a me alienum puto...»[21]

— как бы оправдываясь, сказал он.

Но вскоре он вспомнил, что ему необходимо ехать (он отправлялся с визитом к графу NN), еще раз с каким-то засосом облизал паль-

чики Моргунихи, еще раз ущипнул лесковскую учительницу, снова покрасневшую как пион, смачно расцеловался с Лизаветой Петровной и, испросив у отцов общее благословение, скрылся. И хозяева и гости проводили его до самых саней.

После отъезда Гермогена с добрый час тянулось еще то взволнованное состояние нашего духа, которое причинилось нам его присутствием. Мы смаковали его речи, дивились его простоте и благородству обхождения, восторгались его «ученостью» и латынью и завидовали отцу Вассиану. Отец же Вассиан летал точно на крыльях и не чаял границ своему блаженству.

Дамы изъявляли удовольствие свое непрерывными восклицаниями. Гермогенова любезность повергла их в совершеннейший восторг. Его комплименты вспоминались ими с лукавой улыбкой, его заигрывание возбуждало умиление... А Моргуниха сразу воздвиглась на пьедестал и принимала жертвы. Ей преподносили сладкие любезности, ее посвящали в маленькие свои тайны, ей поверяли тайные помыслы свои. Еще бы! сам «его —

ство» изволил целовать ее руки, сам «его — ство» изнывал перед ней и, видимо, строил ей куры.

Но Моргуниха стоит, чтобы описать ее подробно. Ее нельзя было назвать красивой, она даже была скорее дурна, но от всей ее фигуры веяло чем-то таким, что неизбежно влечет к себе некоторых. Это «что-то» не было симпатичностью, которой непременно присуща какая-то теплота — мягкая и вместе успокоивающая, — нет... Оно влекло к себе не успокаивая, а раздражая, притягивало не отрадной, тихо и мирно нежащей теплотой, а чем-то знойным, возбуждающим и, если хотите, острым. Да, именно — острым, в смысле едкого, смешанного с каким-то болезненным удовольствием, ощущения.

Она была довольно большого роста, скрадываемого легкой сутуловатостью. Смуглое лицо ее было очень выразительно. Крупные алые губы, широкие черные брови, глаза, подобные спелым вишням, — все придавало этому лицу характер какой-то страстной и беззастенчивой чувственности. И когда это господствующее свойство напрягалось в ней,

вам становилось страшно, вам чудилось в ней что-то хищное, присущее зверю... Черные зрачки ее глаз расширялись тогда и вспыхивали каким-то жадным и вместе зловещим огнем; бледные щеки загорались темным румянцем; полуоткрытые губы, казалось, покрывались кровью и нервно трепетали едва заметным трепетом, плечи вздрагивали, словно от озноба...

Я с ней скоро познакомился... Говорила она порядочно; без претензий на особое развитие, но ясно и толково. Впрочем, по некоторым фразам, иногда вырывавшимся у ней, было заметно, что людей она видала много и разнообразного пошиба, речей слыхала довольно, в том числе и так называемых «передовых», хоть суть этих речей ею и не затрагивалась серьезно. Скорей, она скользила по этой сути. Да и вообще в области «передовых» воззрений ограничилась только двумя-тремя скептическими, но легкомысленными фразами. Видно было, что скептицизм этот не только не продуман ею, но даже и сказался-то почти против ее воли, может быть отчасти и ради особого щегольства. Во всяком случае, ко-

гда я, придравшись к какой-то вольнодумной ее фразе, стал было приставать к ней, она отделалась шуткою, по-видимому совершенно не придавая значения ни своему вольнодумству, ни моей придиричivosti. Но это легкомысленное вольнодумство казалось в ней почему-то органическим... Надо добавить, что касалось оно вопросов преимущественно нравственных и далее этого не шло.

— Что это вам вздумалось с ребятишками возиться? — спросил я ее.

— Да как вам сказать... — она на минуту задумалась, — деться мне некуда... делать нечего...

Говорила она медленно и часто делала паузы.

— Как же так?

— Да так... С отцом мы в ссоре. Мать тоже как-то... — она немного затруднилась подыскать выражение, — чудно ко мне относилась... Средств никаких... вот вам и все! А с ребятишками — нетрудно... Ну, свобода тут... Народ простой, притязаний нет у них... — Она лениво усмехнулась.

— Можно бы, мне кажется, повыгодней ме-

сто найти?

— Оно конечно... и я, может быть, брошу это... Но ведь образование надо какое-нибудь... Вы знаете — я в институте не кончила... Спасибо, этот-то случай вышел!.. Я ведь пыталась и прежде в учительницы-то... Ну, экзамен требовался... А, тут как-то так... шутя!.. Гермоген Абрамыч пристал, пристал... Вы знакомы с ним?.. Я и решилась... — Она улыбнулась не без лукавства и затем продолжала: — Это все комедия, конечно. Какая грамота, и на что она им... Да и Гермоген Абрамыч говорит то же самое... Но знаете, берешь деньги и как-то совестно иногда... Ну, долбишь им, задаешь там из Ливанова, из других... время и тянется себе... Ах, правда, иногда очень скучно!

— Вы бы читали.

— Да признаться, не люблю я читать-то: все выдуманно, вздор все... бедность, несчастья, страдания какие-то — ну, к чему это!.. И притом все мужик, мужик, мужик, — ведь это вредно, наконец!.. Вот французские романы еще ничего, да и то что-то нет теперь интересных... А уж русские — такая все сушь, та-

кая тоска!.. — И она засмеялась.

Я спросил ее, где она жила прежде, чем занималась.

— Чем занималась-то я? — возразила она. — Вот уж, право, не сумею сказать... Мы в Петербурге прежде жили: папаша служил... Ну, там и замуж вышла, за чиновника в штабе... Потом он умер... Папаша вышел в отставку... Я в Петербурге пожила еще года два... Пробовала в телеграфистки, в акушерки думала... Потом в учительницы... Тут приехала сюда — у отца домик в городе, — подвернулся Гермоген Абрамыч и... вот!

— Невесело показалось вам от Петербурга? — спросил я.

— Да-а... — протянула она, — разумеется... Там гулянья, театры, маскарады... ну, и общество, — папаша, когда служил, доходов получал много, и мы открыто жили... Бывало, какие люди не съезжались!.. пикники, музыка, офицеры... Буфф<sup>{11}</sup>, Берг<sup>{12}</sup>, Александринка... — И она погрузилась в приятную задумчивость.

— Ну, а здесь?

— Ну, здесь, понятно, — дичь. Отсталые понятия, безобразные шляпки, глупая мораль.

Обедни, посты... О, вы не поверите, как вся эта чушь ошеломила меня тогда!

— Но вы привыкли — Гермоген Абрамыч ведь очень нравственный и очень религиозный человек...

— О, да, он очень нравственный и очень религиозный! — с ясным оттенком насмешливости воскликнула она и лукаво сдвинула свои густые брови.

От Моргунихи я подсел было к лесковской учительнице, но от этой уже окончательно не добился никакого толку. На все вопросы мои она отвечала с такой первобытной односложностью и при этом так немилосердно и неестественно пищала и таким загоралась ярким румянцем, что становилось совестно.

— Вы в духовном училище воспитывались?

— Да-с...

— Давно кончили курс?

— Нет-с...

— У вас есть матушка?

— Да-с...

— А отец и братья?

— Нет-с...

— Вы любите свое занятие?

— Да-с...

— И много у вас учеников?

— Нет-с...

— Меньше, чем у прежнего учителя?

— Да-с...

— Отчего же?

Но она так беспомощно и так тоскливо пролепетала: «Не знаю-с» и с такой слезливой миной оттопырила свою губку, что мне стало ее жалко, и я поспешил отойти от нее.

А впечатление Гермогенова визита остыло, наконец, и вскоре совершенно улеглось. Пированье мало-помалу разгоралось, принимая все более и более интимный характер. Графин с водкою наполнялся все чаще и чаще. Речи становились оживленнее. Разнообразные улыбки осветили возбужденные лица. На двух ломберных столах закипела стуколка. Клавикорды открылись, и одна матушка не без приятности пропела под их старческие звуки «Приди в чертог ко мне златой...»<sup>{13}</sup> Волостной писарь сыграл на своей великолепной гармонии нечто из «Мадам Анго»<sup>{14}</sup> (как сам объяснил). Моргуниха с шиком исполни-

ла игривую арийку из «Герцогини Герольштейнской»<sup>{15}</sup> и даже пошевелила бедрами на манер m-ше Жюдик<sup>{16}</sup>. Все шло прекрасно.

Тесные комнатки были переполнены дымом и звуками. Там кричали «пас!», здесь — «стучу!», в одной стороне слышалось «по рюмочке, господа!», в другой — трепетал мотив игривой песенки. Получался хаос, но хаос, приятно раздражающий нервы.

Кроме поющих и играющих, было и еще довольно народу. Те пили, курили и говорили. Я ходил и слушал и тоже выпивал от времени до времени...

В углу гостиной сидели две матушки и говорили какую-то чепуху о том, что становой нашел у бывшего лесковского учителя, Серафима Ежикова.

В другом углу отец Вассиан сетовал на пакости некоего отца Вавилы, пастыря соседнего прихода. Сетования эти мрачно выслушивались отцом Досифеем, который только и делал, что издавал глубокомысленное мычание, тяжело отдувался, размахисто расчесывая свою громадную рыжую бороду крошечным роговым гребешочком, и неодобрительно по-

смастривал по сторонам. А около отцов стоял и тоже сетовал отец дьякон. Он — как и подобает маленькому человеку — изъяслял свои чувства чрезвычайно скромно: деликатно подкашливал в рукав ряски и умильно поддакивал. Отец Вассиан говорил очень грустным и медлительным голоском, как бы тяжело скорбя о брате своем по Христе, то есть об этом самом отце Вавиле, хотя я доподлинно знал, что таких врагов, как отцы Вассиан с Вавилой, не скоро встретишь в подлунном мире.

— ...Вот я говорю — жалостливо тянул отец Вассиан, — позволительно ли так ронять сан? Ну, у всякого слабости, это что толковать — «несть человек еже не согрешит», но, с другой стороны, согласитесь сами: служитель алтаря и — алчен... Ведь это, как хотите, — соблазн!

— Не подобает, — густо промычал отец Досифей.

Отец дьякон кашлянул в руку и заискивающе вскинул подобострастные глазки свои на отца Вассиана.

— Вот позавчера тоже старушка одна ко мне приходила, — таинственным полупшепо-

том продолжал отец Вассиан, трагически вы-  
лупляя свои воспаленные глазки, — не хоро-  
нит!.. Дай три целковых!

— Гм!.. — удивился отец Досифей, неистово  
вонзая гребешок в густые волосы бороды.

Отец дьякон опять кашлянул, на этот раз  
уже с явным неодобрением.

— Ну, разве это позволительно? Разве это  
приличествует сану иерея? — с ужасом вос-  
кликнул и приподнял брови отец Вассиан.  
(Увы! — он сам не брал за похороны меньше  
трех рублей.) — Пятый день покойник-то в ка-  
раулке лежит... Посудите сами!..

Отец Досифей сокрушительно потряс боро-  
дой и возвел очи горе, как бы призывая госпо-  
да бога в свидетели своего сокрушения (у  
него, год тому, весь свадебный поезд ночевал  
в церкви, за неимением у жениха тех двадца-  
ти рублей, которые просил с него за венчание  
отец Досифей). Отец дьякон тоже не оставил  
изъявить свои чувства: он так негодующе  
кашлянул, что даже привлек общее внима-  
ние.

— ...Крысы покойнику-то ухо отгрызли!.. —  
ужасающим шепотом добавил отец Вассиан,

как бы в изнеможении от скорби и негодования.

После чего все трое, с надлежащей серьезностью во взорах и солидностью в движениях, направились к заветному столику.

Дамы тоже не забывали выпивать и с каждой рюмкой «дрей-мадеры» становились все развязней и веселее. Жена отца Досифея даже покушалась было затянуть «Во лузях», но было вовремя остановлена каким-то иносказательным телодвижением отца Досифея и снова поверглась в столбняк. С тех пор она уже не издавала ни звука и целый вечер сидела с полуоткрытым ртом, в который, как в воронку, сливала «дрей-мадеру».

Моргуниха уселась около одного из ломберных столов и оживленно беседовала с Чумаковым и фельдшером. Разговор ее теперь лился быстро и порывисто. В ее блистающих глазах и в лице, разгоревшемся от вина, начинало напрягаться то чувственно-задорное выражение, которое и было отличительным признаком всего ее существа.

Близость Моргунихи, по-видимому, опьяняюще действовала на ее собеседников. Впро-

чем, выражалось это опьянение не одинаково. Фельдшер окончательно раскис и, изобразив из своего лица одну сплошную приторно-сладкую улыбку, неистово подергивал кончиком своего нервного носика и откалывал комплименты один другому забористей. Чумаков держал себя угрюмо, и необычность его настроения можно было заметить разве только по глазам, иногда метавшим на соседку плотоядные молнии, да по тому сосредоточенному и как бы хладнокровному азарту, с которым он ставил громадные ремизы, покупал «в темную», играл на десятке, а иногда даже и без козыря, и пренебрежительно разбрасывал по столу крупные кредитки. Всему этому, мимоходом сказать, очень радовался один из партнеров Сережи, хитроумный отец Симеон. Беспрестанно потирая о полы полукафтанья вечно потевшие руки свои, он с крайним смирением и аккуратностью, и каждый раз с легким вздохом, впихивал кредитки в маленький засаленный кошелек, стараясь при этом изобразить на лице своем нечто как будто сожалительное. Глаза только выдавали его: в тонких, лучистых морщинках, которые

окружали их, гнездилась восторженная, еле сдерживаемая радость.

Наконец Чумаков не выдержал. Он внезапно побледнел, порывисто встал из-за стола и объявил, что играть больше не будет. Надо было видеть состояние отца Симеона! Он ужасно перетревожился, весь как-то засуетился и испуганно засеменял ножками. Беспорядочно торопясь и волнуясь, он начал доказывать Сереже, что на очереди еще два ремиза и что поэтому игру оставлять «бесчестно». В его необыкновенно скрипучем и беспомощно дрожащем голоске ясно слышались слезы, его желтоватые глазки усиленно заморгали и заблестали каким-то словно фосфорическим светом, во впадинах щек показалось судорожное подергиванье... Самое слово «бесчестно» он почти выкрикнул, горячо и требовательно. Казалось, еще мгновение, и он разразился бы рыданиями. И обычное смирение его и присущую ему кроткую язвительность все на этот раз превозмогла какая-то жгучая, беспокойная жадность. Но Чумаков посадил за себя купца-хуторянина, и отец Симеон, скрепя сердце, стих.

— Что же вы бросили? — спросил я у Сережи.

— Э, ну их... — Он энергично махнул рукой, — давайте-ка выпьем лучше!

Мы выпили. Чумаков явно находился в возбужденном состоянии. Он ерошил свои волосы и был бледен.

— А, какова, черти бы ее подрали! — шепнул он мне.

Я выразил недоумение.

— Да эта... черт!.. Моргуниха!.. Зажигательная, бестия...

Он даже зажмурился и зубами заскрипел, а затем продолжал:

— Что значит столичная-то штучка! Ведь вот наши девки, посмотришь, обыкновенные, страсть хороши есть... Иная просто дьявол-дьяволом!.. А ведь этого нет вот — чтобы одурманивало тебя.

Он подумал, пожевал сардинку и снова заговорил:

— Я полагаю — от бессовестности это от ихней... Ведь наши девки что? Ей ежели рубль, так она овечка... Очень они даже бессовестны! Нет у них, чтоб жестокости этой... А

ежели иная и закобенится — родные приспособуют. Это, я вам доложу, такой народец!.. Я вот вам расскажу, случай со мной был. Пршлым, стало быть, летом девчоночка тут одна объявилась, — так, ежели не ошибиться, малолеток еще. Ну, и — ничего не поделаешь!.. Уж я бился, бился с нею... Вы не поверите — пици лишился... Замуж ее, дуру, обещался взять... Ничем не проймешь!.. Закаменела!..

И немного погодя загадочно посмотрел на меня и произнес:

— Ну и что же?

— Ну и что же? — повторил я.

— А то, что все дело-то опять-таки в деньгах стояло. Матери всучил четвертную, она мне ее сама привела, на хутор... Пять верст ночью перла!.. Препоганый, я вам доложу, народ... Ей корову там нужно было купить, так вот из-за коровы... подите вы с ними!.. Ну, и напарил я ее с этой коровой, — с добродушным смехом добавил Сережа, — поля-то у нас сумежные, она раз и попадись ко мне в загон... так я с ней семь целковых слупцевал!

А потом помолчал и снова продолжал:

— Нет, скучно теперь. Вы знаете — я смерть этого не люблю, чтоб без запрета мне все. Ну, какое удовольствие?.. Вот прежде так бывало: ходишь, ходишь около девки-то, так даже тоска тебя засосет... Народ был крепкий, настойчивый. Бывало, мужик-то князем на тебя смотрит! Мужик был хлебный, тучный. А нонче... уж так они опаскудились, так опаршивели — смотреть тошно!.. Нет, не люблю я этого!.. Я тятеньке прямо говорю: мне это не по душе... Согласитесь сами, какое я могу получить здесь удовольствие?.. Ты дай мне мужика-заворотня, ты мне предоставь такого, чтоб от него разбойником шибало, — это я понимаю. Переломить его, загнать в свою веру... Вон брат Липатка тятеньке пишет — приеду, говорит, не иначе как фабрику заводить, — мне это не по душе!

— А где теперь Липат Праксельч?

— Да все в Англии в этой. Таскается там, вынюхивает... Нет, не люблю этого!

И он решительно опрокинул в рот рюмку с «железной дорогой».

А по прошествии еще малого времени эта «железная дорога», в совокупности с «дрей-

мадерой», окончательно всех возмутила. Ломберные столы были оставлены. Публика беспорядочно слонялась по комнатам, пила и говорила, пела и славословила. Один из батюшек присоседился к клавикордам и, многозначительно нахмутив брови свои, подыскивал указательным перстом мотивы «Херувимской». Писарь, поместившись среди дам и особенно томно устремив глаза в пространство, подпевал и аккомпанировал им на гармонике «Славься, славься...» Фельдшер тончайшим дискантом затягивал:

*Уймитесь, волнения страсти...*

и все просил Моргуниху подтянуть ему.

— От вас одной, мадам, я ожидаю истинного понятия, — говорил он, потому, сам получил образование и могу понимать...

А когда Моргуниха уже окончательно присоседилась к Чумакову, он надулся. Но, впрочем, Лизавета Петровна скоро утешила его — она явно с ним кокетничала и даже ухаживала за ним.

Отец дьякон отчего-то впал в тяжкое раздумье, и после нескольких минут этого разду-

мья, прерываемого частыми и сокрушительными вздохами, необыкновенно трогательно и умиленно затянул хриповатым баском:

*На ре-ка-ах ва-вило-он-ских...*

Отец Симеон, старательно придерживая рукою карман полукафтанья, в котором покоился плотно набитый кошелек, подхватил своим жиденьким, гнусливым тенорком:

*Се-до-о-хом и пла-ка-хом...*

Отец Досифей, уставив на певцов меланхолический взор, с каким-то свирепым ожесточением расчесывал свою бороду, покушаясь в иных местах умилительного канта пустить в дело и свой литавроподобный бас. Отец Васиан, расположившись в уединенном уголке залы, загроможденном шубами и салопами, смиренно внимал пению и проливал токи горьких слез. Он едва был виден из-за шуб.

А писарь заиграл трепака. Играл он мастерски. Из гармонии полились такие подымающие, такие ухарские звуки, что так и тянуло в пляс. Чумаков вмиг очутился в одной щегольской рубахе своей и, сделав молодец-

кий «выход», во время которого оттеснил публику к стенам, пустился выделывать дробь. Плясунов таких я редко видывал. Недаром, как говорили, он заплатил за выучку большие деньги какому-то цыгану, замечательному искус-нику по этой части. Но когда Моргуниха, взяв в правую руку платочек, выступила на середину комнаты, с вызывающей усмешкой передернула бедрами и соблазнительно шевельнула грудью, он просто превзошел себя. Ноги его выделывали нечеловеческие па, все тело превратилось в какой-то трепещущий, необыкновенно подвижной аппарат. Запекшиеся уста издавали буйные клики, глаза пламенели, плотоядное выражение застыло на горячем лице, растрепанные волосы прониклись влажностью...

Лизавета же Петровна под шумок окончательно завладела фельдшером. Она и притопывала ножкой, и подергивала аппетитными своими плечиками, а вместе с тем горячо сжимала фельдшерскую руку и выразительно приговаривала в такт музыке:

*Перед мальчиками  
Хожу пальчиками,*

*Перед милыми друзьями  
Хожу белыми грудями...*

Кончик фельдшерского носа отчаянно дергался, а сам фельдшер, искоса поглядывая в сторону отца Вассиана, подхватывал коснеющим языком:

*Уж вы, серые глаза,  
Режут сердце без ножа...  
Ах, карий глаз,  
Не подглядывай ты нас...*

Впрочем, отец Вассиан давно уже сладко похрапывал, приютившись за шубами.

Отец Досифей угрюмо смотрел на пляску. Отца дьякона покинуло, наконец, уныние, тяготевшее над ним во время пения канта, и он весь сиял, как ярко вычищенный поднос. С большим интересом следил он за пляскою, видимо доставлявшею ему громадное удовольствие. Глаза его расширились и светились лучистым блеском.

Отец Симеон тоже утратил свое благолепие. Сильно навеселе, он конвульсивно подергивался, то вспрядывая, то приседая, то жмуря глаза, то, открывая их, все смотря по

тому, какой тон музыки достигал его слуха: просто ли подмывающий, или подмывающий до неистовства. Казалось, он вышел в первый раз купаться и то окунался в холодную как лед воду, то опять из нее выскакивал. Однако карман полукафтання держал крепко.

Пьяный купец-хуторянин сидел в сторонке и, многозначительно поднимая к носу палец, в недоумении восклицал:

— Нет, каким же теперича манером «кровопивца»?!

Оставив пиროванье в полном разгаре, я кое-как разыскал Михайлу и отправился домой.

По селу все еще бродили пьяные. От кабака неслися песни, и откуда-то с окраины села достигал до нас отчаяннейший вопль:

— А-ай, батюшка... А-ай, пустите душу на покаяние!.. Карра-улл...

Когда мы выехали за село, долго еще какой-то беспорядочный, назойливо звенящий гул стоял в ушах моих. Голова кружилась.

Но угрюмая и как бы несколько печальная тишина чистого поля, наконец, успокоительно подействовала на мои нервы. Пьяные ли-

ца, бешеные возгласы, пронзительное пение, ухарский топот трепака и залихватские звуки гармоники — все это уплывало от меня, исчезая в каком-то мутном тумане. На смену им тихая, но вместе и ноющая грусть овладевала мною...

Хмурое без просвета небо, хмурое поле, необозримой пеленою уходящее в хмурую даль... Погоняй, погоняй, Михайло! Скорее в теплую и уютную тишь родного хутора, где нет ни бессмысленного людского разгула, ни величавой тоскливости хмурого поля, а есть только одна, обыкновенная, тихо и не спеша сосущая сердце скука...

# Примечания

Первой ночи (*лат.*).

[^^^]

## 2

По собственному побуждению (*лат.*).

[^^^]

# 3

Так проходит земная слава (*лат.*).

[^^^]

# 4

Конец венчает дело (*лат.*).

[^^^]

# 5

Человеку свойственно ошибаться (*лат.*).

[^^^]

Фактически (*лат.*).

[^^^]

# 7

Без гнева и пристрастия (*лат.*).

[^^^]

# 8

Если хочешь мира, готовься к войне (*лат.*).

[^^^]

# 9

Что и требовалось доказать (*лат.*).

[^^^]

Нечаянно. (Прим. автора.).

[^^^]

Дешевый сорт селедок.

[^^^]

Вид коньяка (*франц.*).

[^^^]

# 13

Ешь, пей, веселись (*лат.*).

[^^^]

По обязанности (*лат.*).

[^^^]

По доброй воле (*лат.*).

[^^^]

Доколе же, наконец!.. *(лат.)*.

[^^^]

По когтю льва, по ушам осла (*лат.*).

[^^^]

Я вас! (*лат.*).

[^^^]

Здесь цепенеет вода (*лат.*).

[^^^]

Упадет в Сциллу, кто хочет избежать Харибды (*лат.*).

[^^^]

Ничто человеческое мне не чуждо (*лат.*).

[^^^]

# Комментарии

*«В пору губернских комитетов...»* — В 1857 году был издан «высочайший» рескрипт об учреждении «губернских комитетов» для подготовки проектов крестьянской реформы. Создавая их, правительство фактически предоставляло помещикам полную свободу действий, делая их главными вершителями судеб крестьян, так как комитеты составлялись из губернских предводителей дворянства, выборных от уезда помещиков и двух «опытных помещиков» по назначению начальника губернии.

[^^^]

«...не давать его в жертву „красным“ — Ростовцеву и К°...» — Ростовцев Яков Иванович (1803–1860) — государственный деятель царской России, генерал-адъютант, некоторое время в молодости примыкал к декабризму, но отошел от движения и сообщил правительству о готовящемся восстании. Ростовцев принимал видное участие в подготовке «крестьянской реформы» 1861 года, будучи членом секретного и главного комитетов (1857–1858), с 1859 года был председателем редакционных комиссий, созданных для составления законопроекта об отмене крепостного права. Первоначально защищал крепостническую позицию, но под влиянием нараставшего революционного движения признал необходимость некоторых уступок, выступив за обязательное наделение крестьян землей, проведение выкупа крестьянских полевых наделов при содействии правительства, перевод крестьян на оброк, отказ от вотчинной полиции и проч. Летом 1858 года составил четыре письма Александру II, которые легли в

Основу политики правительства в крестьянском вопросе с 1859 года.

[^^^]

«...предвосхитил Щедрина...» — Имеется в виду «Убежище Монрепо», произведение Салтыкова-Щедрина, печатавшееся в «Отечественных записках» в 1878–1879 годах.

[^^^]

*Цинциннат* Люций Квинций — римский политический деятель и полководец; был консулом (460 год до н. э.) и диктатором (458 и 439 годы). Его называли гражданином, служащим отечеству «мечом и плугом», так как он от своих государственных обязанностей всякий раз возвращался к земледельческому труду.

[^^^]

«Телемахиды» (1766) — поэма Тредиаковского Василия Кирилловича (1703–1769), перевод гекзаметром прозаического романа французского писателя Фенелона «Приключения Телемака», Трудно переоценить заслуги Тредиаковского, поэта и ученого, перед русской литературой. Новиков, Радищев, Пушкин отмечали их. Но архаическая лексика «Телемахиды» и некоторая утяжеленность стиха вызывали насмешки современников.

[^^^]

*Хвостов* Дмитрий Иванович, граф (1757–1835), стяжавший в литературе славу бездарного поэта. Он сам скупал свои сочинения.

[^^^]

*Бутенон* — владелец магазина сельскохозяйственных машин.

[^^^]

*Иоанн Калита* — московский князь Иван Данилович (1325–1341), получивший в народе прозвище Калиты (старинное русское народное название денежной сумки или мешка).

[^^^]

*Мак-Магон* (1808–1893) — маршал, бывший в 1873–1879 годах президентом Французской республики, клерикал и антиреспубликанец, замышлявший реставрацию Бурбонов. В 1871 году, стоя во главе версальцев, играл активную роль в подавлении Парижской Коммуны.

[^^^]

*Прудон* Пьер Жозеф (1809–1865) — французский мелкобуржуазный публицист и социолог, один из основоположников анархизма. В книге «Что такое собственность?» (1840) Прудон критиковал право частной собственности, утверждая, что «собственность — это кража». Но Прудон был непоследователен: критике он подвергал лишь капиталистическую крупную частную собственность, отстаивая мелкую.

[^^^]

*Буфф* — петербургский частный театр легкого, опереточного жанра. Он помещался на Александринской площади, рядом с Александринским театром, почему Моргуниха и называет одновременно «Александринку» и «Буфф».

[^^^]

*Берг.* — «Театр Берга» существовал в Петербурге с 1869 по 1876 год. Содержателем его был В. Берг — «гамбургский уроженец». Основой репертуара театра были шансонетки, канкан и интермедии.

[^^^]

«Приди в чертог ко мне златой...» — ария из популярной в свое время русской переделки венской волшебной оперы «Фея Дуная» (автор переделки Н. С. Краснопольский). Оперу в Петербурге давали по частям, всего было 4 части. Первая часть оперы под названием «Русалка» (музыка венского композитора Ф. Кауэра, отдельные номера русского композитора С. И. Давыдова) была первый раз поставлена в Петербурге 26 октября 1803 года. П. Арапов говорит об успехе первой части оперы: «Опера „Русалка“, несмотря на всю нелепость своего содержания, произвела фурор, и в Петербурге только что и говорили об ней и повсюду пели из нее арии и куплеты: „Приди в чертог ко мне златой!“, „Мужчины на свете, как мухи, к нам льнут“ и „Вы к нам верность никогда не хотите сохранить“; эти арии были в большой моде, и повторялось представление „Русалки“ через день...» См. также Пушкин, «Евгений Онегин», гл. II, строфа XII.

«*Мадам Анго*» — оперетта французского композитора Шарля Лекока (1832–1918) «Дочь мадам Анго» (1872).

[^^^]

«Герцогиня Герольштейнская» — оперетта Жака Оффенбаха (1819–1880), в которой под этим именем выводится Екатерина II и изображаются ее любовные похождения и нравы ее двора.

[^^^]

*Жюдик* — опереточная артистка петербургских кафешантанов и увеселительных садов, пользовавшаяся колоссальным успехом в 1870-х годах.

[^^^]